

**МЕЛАН  
ХОЛИЯ  
СО  
ПРОТИВ  
ЛЕНИЯ**

**В**се случилось иначе, да оно и понятно, ведь госпожа Эстер прекрасно знала, с кем имеет дело, поэтому ей, которая — как нашептывал на ушко своей пассии ее друг полицмейстер — “уже в плане роста и веса... не говоря обо всем другом”, была “просто недюжинной дамой”, не составило труда с врожденным начальственным чувством и решимостью, не терпящей непокорности в принципе, смять сопротивление госпожи Пфлаум; изображая саму любезность — “о моя дорогая... милейшая...” — она по-мужски басовитым голосом заявила, мол, она понимает, что пожаловала в неурочный час, но им непременно нужно поговорить с хозяйкой по “неотложному личному делу”, и, воспользовавшись кратким и вполне предсказуемым замешательством госпожи Пфлаум, попросту отодвинула ее вместе с дверью в сторону, вихрем взбежала по лестнице и, по привычке слегка пригнувшись (“Чего доброго еще шандарахнешься лбом...”), ввалилась в квартиру, после чего, дабы пока отвлечь внимание от своей неотложной цели, сделала несколько сдержанных замечаний о “замечательной планировке”, об “интересной расцветке” ковровой дорожки в прихожей и об “изысканном стильном убранстве”, которое про себя она уже окрестила “мещанской пошлятиной”, когда, вешая пальто на ве-

шалку, окинула обстановку квартиры несколькими молниеносными оценивающими взглядами. Разумеется, трудно с уверенностью сказать, что выражение “отвлечь внимание” достаточно точно отражало истинную природу ее намерений, ибо для достижения ее настоящей цели — а она заключалась в том, чтобы, ввиду срочности дела, еще до конца дня провести около четверти часа с госпожой Пфлаум, дабы наутро при встрече с ее сыном Валушкой можно было сослаться на этот визит — сие обстоятельство, по правде сказать, значения не имело; и все же она не остановилась на самом простом в этой ситуации способе (а именно без промедления опуститься в одно из этих уродливых кресел и завести разговор о “наблюдаемом повсеместно в стране кипучем желании служить делу всеобщего обновления и, в частности, о пылком энтузиазме, что охватил их крепнувший с каждым днем городской Женский комитет”...), причем не остановилась на нем потому, что, хотя госпожа Эстер и рассчитывала на нечто подобное, это “затхлое гнездышко” сибаритства, праздности и разнеженности поразило ее настолько, что, благоразумно подавив в себе отвращение, она решила сперва со всей возможной дотошностью обследовать оборонительные сооружения хозяйки. В сопровождении раскрасневшейся, огорошенной, не смевшей и рта раскрыть госпожи Пфлаум, которая едва успевала подхватывать сметаемые со своих мест безделушки, она обошла до отказа забитую всяческой дребеденью квартиру, с притворным одобрением (ибо “выкладывать карты на стол было еще преждевременно”) приговаривая густым контральто, мол, “ну да, никаких сомнений:

только женщина наполняет смыслом безжизненные предметы, равно как она же, и только она, способна придать дому обаяние уникальности”, при этом внутри — в глубине души! — она едва сдерживалась, чтобы не сцапать и не раздавить, как цыпленка, какую-нибудь отвратительную финтифлюшку, ибо, черт подери, именно эта жаркая, душная, липкая мешанина из настенных кармашков для мелочей, кружевных салфеточек, пепельниц в виде лебедя, шелковистых псевдоперсидских ковриков, легких тюлевых занавесочек и пары-тройки сентиментальных книжонков в застекленной витрине ярче всего демонстрировала ей, до чего довела наш мир наглость и вездесущность “сытой праздности и дряблого слабоволия”. Она все осмотрела и оценила, не упустив из виду ни одной мелочи, и как бы для пущей самоакалки с горьким мучительным наслаждением втянула в себя приправленный дезодорантами воздух: тот смрад, тот самый тошнотворный запах “чистеньких кукольных домиков”, который за версту выдает, что в них обитают жалкие существа, и от которого госпожа Эстер — как после своего избрания с саркастическим негодованием признавалась она полицмейстеру вслед за очередным ознакомительным визитом — уже с порога (“Всегда!”) испытывала “огромное желание блевануть”. Независимо от того, был ли это только сарказм или действительное физическое страдание, ее друг нисколько не сомневался, что психика госпожи Эстер подвергалась невиданным испытаниям, потому что с тех пор, как “волей очухавшейся общественности” она, в знак признания ее многолетней деятельности в роли хормейстера местной мужской капеллы (уни-

зительность каковой должности смягчало лишь право самой формировать “эксклюзивный репертуар” из военных маршей, трудовых песен и гимнов весне), вознеслась на пост председателя Женского комитета и стала его железным лидером, ей приходилось изо дня в день (“Часами!”) пропадать в таких вот квартирах, причем, как казалось ей, только для того, чтобы в очередной раз убедиться: то, о чем она догадывалась и до этого, теперь уже несомненный факт. Ибо она хорошо поняла, что именно здесь, в этой затхлой атмосфере, среди этих засахарившихся варений и жарких перин, среди ковров с аккуратно расчесанными кистями и зачехленных кресел, увязают все добрые начинания; что именно в мертвом болоте, населенном любителями оперетты, этими обывателями в теплых домашних тапочках, которые возомнили себя сливками местного общества и просто плюют на здоровые массы трудящихся, увязают все деятельные порывы; она понимала, чем можно объяснить, что провозглашенная по ее председательской инициативе грандиозная кампания за чистоту, невзирая на многомесячные энергичные усилия, прискорбным образом все еще пребывала в зачаточной стадии. Честно сказать, на что-то другое она особенно не рассчитывала, а потому и не удивилась, когда оказалось, что это прокисшее от самодовольства бесподобное сборище паразитов холодно отвергает ее тщательно взвешенные аргументы, ибо за всеми их неуклюжими отговорками (как то: “Конкурс чистоты? В декабре? Может, лучше весной, под генеральную уборку...”) госпожа Эстер безошибочно угадывала истинную причину их несговорчивости, понимала, что их бо-

лезненная бездеятельность и позорное малодушие имеют причиной дурацкий, хотя с их точки зрения вполне оправданный, страх, предвидящий во всеобщем обновлении всеобщий упадок, а в новаторстве победителей — зловещие признаки торжества хаоса, и — совершенно верно — силу, которая, вместо того чтобы защищать, беспощадно крушит то, что признано безвозвратно мертвым, и на месте безликой скуки сводящегося только к приобретательству эгоизма утверждает “высокую страсть коллективного действия”. Нечего и говорить, что в этой оригинальной трактовке чрезвычайных и исключительных событий последнего времени — за исключением ее друга, начальника полиции, и еще пары-тройки нормальных людей — никто в городе ее не поддерживал, и все же: сие нимало ее не смущало, не заставляло задуматься, ибо что-то подсказывало ей, что “победы, которая подтвердит ее правоту, ждать осталось недолго”. Разумеется, на вопрос, а в чем, собственно, должна заключаться эта победа, ответить одной простой фразой (или двумя) она не могла, но вера в победу была так сильна, что, какой бы упрямой и многочисленной ни казалась эта “масса никчемных любителей теплых тапочек”, она не то что нисколько их не боялась, но вообще не считалась с ними, а все потому, что ее настоящим противником был — и именно потому общественная борьба стала для нее и личной — не кто иной, как Дёрдь Эстер, ее формальный муж, человек, считавшийся большим чудаком и настоящим затворником, в действительности же патологический лодырь, окруженный всеобщим почтением, смешанным со страхом, который — хотя и не мог, в отличие от нее,

“похвалиться общественной деятельностью” — слыл в городе своего рода живой достопримечательностью. Вот уже много лет он валялся в кровати, раз в неделю (“Не чаще!”) выглядывая в окно. Для госпожи Эстер он был не только “неодолимой, чудовищной, адской помехой”, но вместе с тем и единственным шансом на то, чтобы не быть окончательно изгнанной из круга самых влиятельных граждан города, — иными словами, ловушкой, идеальной и безупречной, не оставляющей никаких надежд, ловушкой, из которой не вырвешься и которую не разрушишь. Ибо, как и всегда, Эстер был ключевой фигурой, самым важным звеном в цепи ее грандиозных планов — именно он, который несколько лет назад, вскоре после того, как, сославшись на “ишиас”, удалился на пенсию с поста директора местной Музыкальной школы, с безграничным цинизмом заявил ей, что “в ее супружеских услугах он больше не нуждается”, и уже на следующий день она вынуждена была на скромные сбережения снять квартиру неподалеку от рыночной площади... то есть именно этот вот человек, который к тому же — из мести, зачем же еще, — дабы пресечь раз и навсегда их и без того редкие общие выступления, отказался даже от руководства городским оркестром, сославшись при этом (как ей рассказывали) на то, что его, Эстера, отныне интересует одна лишь музыка, ее суть, и ничем другим он заниматься не собирается, между тем как она-то знает, насколько фальшиво бренчит он на специально расстроенном непонятно зачем рояле, да и то лишь когда захиревшее в вечном безделье тело выбирается из-под чудовищной груды одеял и пледов. Когда она вспоминала о бесконечной череде униже-

ний, перенесенных ею за прошедшие годы, то больше всего на свете ей хотелось схватить топор и изрубить на куски наглеца прямо в его кровати, но именно этого она не могла позволить себе ни в коем случае, ибо вынуждена была признать, что не сможет без Эстера подчинить себе город, и что бы она ни задумывала, всякий раз ключевой фигурой был он. Объясняя раздельное проживание тем, что, мол, муж нуждается для работы в покое и одиночестве, она была вынуждена поддерживать видимость сохранения брака и решительно подавлять в себе мысль о разводе, кстати, страстно желанном, больше того, она даже пошла на то, чтобы при посредничестве любимца и восторженного почитателя господина Эстера, безнадежного дурачка Валушки, слабоумного сына госпожи Пфлаум от первого брака, — втайне от мужа, но, так сказать, на глазах у города — собственноручно стирать ему грязное белье (его “засранные кальсоны!”). Ситуация выглядела, несомненно, сложной, однако госпожа Эстер не унывала: хотя она не могла решить, что для нее важнее, личная месть или “борьба за общее благо”, чего она больше хочет, расквитаться с Эстером (“За все!”) или же все-таки укрепить свое шаткое положение, одно она знала твердо: столь плачевное состояние дел не будет длиться вечно и однажды, возможно, даже в недалеком будущем, в ореоле заслуженной власти и славы она наконец сможет раздавить этого жалкого негодяя, который (“намеренно!”) выставлял ее на посмешище и отравлял ей жизнь. Что именно так и произойдет, она верила не без оснований, ибо (помимо того, что “все будет так, ибо иначе не может быть!”) председательский

пост не только предоставлял ей возможности для “ответственных и свободных действий”, но и являлся обнадеживающим предвестием ослабления ее зависимости от мужа, — не говоря уже о том, что с тех пор, как она догадалась, каким образом можно сагитировать упирающихся сограждан на первую масштабную акцию Комитета и вместе с тем опять привязать к себе Эстера, ее самонадеянность, недостатка в которой она не испытывала и прежде, обрела невиданные масштабы; госпожа Эстер не сомневалась: она на верном пути, ведущем прямо к цели, и ничто не сможет остановить ее... Ибо замысел ее был безупречен и, “как все гениальное, прост”, вот только, как это обычно бывает, не так-то легко было найти то единственное решение, которое вело к успеху, ведь она уже в самом начале, затевая эту кампанию, ясно видела, что сломить безразличие и сопротивление горожан можно, только “подключив к делу” Эстера; если удастся привлечь его к этой работе и поставить во главе начинания, то пустой смехотворный девиз **“ЧИСТЫЙ ДВОР, ОПРЯТНЫЙ ДОМ”** обреченной на неудачу кампании тут же станет трамплином масштабного и реального массового движения. Да, но как это сделать? Вот в чем заключался вопрос. Ей потребовались недели, да что там недели — месяцы, пока, перебрав множество бесполезных идей от простых уговоров до грубого принуждения, она не нашла тот единственный способ, который должен был увенчаться успехом; зато потом, когда уже было ясно, что ей понадобятся только “этот добряк Валушка” да охладевшая к нему и оттого еще сильнее им обожаемая его мамаша — госпожа Пфлаум, на госпожу Эстер снизо-

шло такое спокойствие, поколебать которое уже не могло ничто, и теперь, когда с дымящейся сигаретой в руке она сидела перед низенькой (“... но еще вон какой грудастой!”) хозяйкой среди мягких ковриков и до блеска надраенной мебели, ее даже несколько забавляло, что всякий раз, когда на пол шлепался очередной столбик пепла — а также когда она, одобрительно кивая, отправляла в рот вишенку из забытого на столе компота, — госпожа Пфлаум вспыхивала “чуть ли не настоящим пламенем”. Она с радостью сознавала, что эта беспомощная ярость хозяйки (“А ведь она боится!” — довольная, констатировала госпожа Эстер) действует на нее успокаивающе, и, оглядываясь в загроможденной растениями комнате, уже чувствовала себя, как если бы находилась где-нибудь на лугу, на ниве, в диких зарослях, и снова воркующим голосом — теперь уж действительно чтобы развлечься — заметила с похвалой: “Это верно. Перенести природу в собственный дом — мечта каждого горожанина. Все мы так думаем, душа моя Пирושка”. Но та не ответила и лишь неохотно кивнула, из чего госпожа Эстер поняла, что пора переходить к делу. Конечно, согласие или несогласие госпожи Пфлаум на роль посредницы — а та и не догадывалась, что уже согласилась, не сумев воспрепятствовать вторжению гостя в свою квартиру, ведь само посещение, собственно, и было “делом”, — словом, ее готовность или неготовность большого значения не имели, и все же: после того как она тщательно описала ей всю ситуацию (в таком духе: “ты только не подумай, душа моя, что он нужен мне — Эстер нужен городу, ну а склонить его, человека, как

всем известно, занятого, на сторону нашего дела способен только и исключительно твой добрый, твой замечательный сын..”) и дружелюбнейшим, но все-таки острым взглядом глубоко заглянула в глаза госпоже Пфлаум, немедленный отказ последней вызвал в ней неподдельное изумление и досаду, потому что ей стало ясно: дело вовсе не в том, что отношения между Валушкой и госпожой Пфлаум “уже несколько лет как расстроились”, и не в том, что она, госпожа Пфлаум, как бы ни было тяжело и горько ей говорить такое, считает своим “материнским долгом” отмежеваться от поступков “кстати, совсем не доброго, а прямо-таки неблагодарного и никчемного” сына, а в том, что она, словно бы сконцентрировав в своем “нет” всю досаду от полнейшей своей беспомощности, просто жаждала отомстить госпоже Эстер за обиды последних минут, за то, что она, Пирошка, — маленькая и слабая, а ее гостья — большая и сильная, за то, что при всем желании она не могла опровергнуть, что ее сын “днюет и ночует у Хагельмайера”, что его почитают за местного дурачка, чьих способностей хватило только на то, чтобы подрядиться разносчиком газет на Городской почтамт, — и что все это она вынуждена выкладывать постороннему человеку, пользующемуся в ее кругу дурной славой. Ее поведение госпожа Эстер могла понять и так, что “эта козьявка”, госпожа Пфлаум, перед ней совершенно беспомощна, что могло бы служить некоторой сатисфакцией за то, что она была вынуждена без малого двадцать минут терпеть ее “безумно нервную улыбку и ханжеские глаза, однако госпожа Эстер отреагировала иначе: решительно вскочив с ядовито-

зеленого кресла и на ходу бросив нечто вроде того, что ей, дескать, пора, она промчалась сквозь цветочные заросли комнаты, случайно снесла плечом со стены прихожей маленький гобелен, загасила в никогда не использовавшейся фарфоровой пепельнице сигарету и в полном молчании нахлобучила на себя огромное дерматиновое пальто. Ибо хоть она и была человеком вполне хладнокровным и привыкла уже ничему в этом мире не удивляться, тем не менее когда находился кто-то, осмеливающийся сказать ей “нет”, как это только что сделала госпожа Пфлаум, она — за отсутствием четкого представления, как поступать в таких обстоятельствах — тут же впадала в гнев. Ярость кипела в ней, она готова была рвать и метать, и неудивительно, что, когда госпожа Пфлаум, нервно ломая руки, обратилась к ней с путаными словами (“Мне так беспокоитно... сегодня вечером... возвращалась домой от сестер... и не узнала город... Может быть, кто-то знает, почему не горят фонари?.. Ведь раньше такого не было...”), она, шелкнув последней кнопкой пальто, сжала губы и, метнув сверкающий взгляд в потолок, чуть ли не заорала на перепуганную хозяйку: “Для беспокойства есть все основания. Мы находимся на пороге суровой, но более честной и откровенной эпохи. Грядут новые времена, моя дорогая Пирошка”. При этих многозначительных словах, к тому же сопровождаемых угрожающим взмахом перста под конец тирады, лицо госпожи Пфлаум покрылось смертельной бледностью; но этого госпоже Эстер было недостаточно, потому что как ни приятно было ей видеть этот испуг и знать, что “грудастая пигалица”, пока они будут спускаться